

Пролог

Выступает однажды научная дама по телевизору и показывает детские рисунки. Мухина ее фамилия. Эти, говорит, рисунки традиционные, с натуры, а вот эти нетрадиционные, поразительные рисунки с фантазией, на них кикимора нарисована. А Сапожников глядит — обыкновенная кикимора нарисована, никакой фантазии. Тоже с натуры, только с воображаемой. Вот и вся разница. Прочел ребенок сказку про кикимору, где она подробно описана, и нарисовал. Какая ж это фантазия? Это простое воображение. Да мы только тем и занимаемся, что воображаем понаслышке.

Затрепали словечко «фантазия». А фантазия — это как любовь. У Пал Палыча большая любовь к выпиливанию лобзиком. У Ромео любовь к Джульетте, а у Пал Палыча к выпиливанию — и все любовь. Или слова надо менять, или то, что за ними стоит.

Фантазия — это прозрение. Фантазия — это когдаобразишь несусветное и это оказывается правдой. Вот если б ребенок сумел увидеть в научной даме живую кикимору и это бы оказалось правдой — вот тогда фантазия. Фантазия — это прозрение. Вот о чем забыли.

А представить себе по описанию Цхалтубу, Занзибар или Пал Палыча — какое же это прозрение? При-

езжаешь в Цхалтубу, а она оказывается вовсе другая. Какое же это прозрение?

На этом пока остановимся. Потому что этого объяснить нельзя. Это надо сначала прожить.

«...Я, Приск, сын Приска, на склоне лет хочу пове-
дать о событиях сокрушительных и важных, свидетелем
которых я был, чтобы не угасли они в людской
памяти, столь легко затемняемой страстями.

Сегодня пришел ко мне владелец соседнего поме-
стья и сказал:

— Приск, напиши все, что ты мне рассказывал. Оно
не идет у меня из ума и сердца. Ходят слухи о новом
нашествии савроматов, я буду прятать в тайники самое
ценное имущество. Но кто знает, что сегодня ценно,
а что нет, когда люди сошли с ума и царства колеб-
лются. Запиши, Приск, все, что ты мне рассказывал,
и мы спрячем свиток в амфору, неподвластную вре-
мени, и зальем ее воском, выдержанным на солнце.
И зароем в землю в неприметном месте, чтобы, когда
схлынет нашествие или утвердится новое царство, мож-
но было продать твое повествование новому властите-
лю. Потому что опыт жизни показывает, что...»

...Бульдозерист Чоботов собрал осколки глиняно-
го старинного горшка и немного подумал — стоит ли
связываться? И так уже план дорожных работ трещал
по швам, а до конца квартала оставалось десять дней.
Но потом все же заглохнул мотор и сказал Мишке Гре-
ку, непутевому мужчине, чтобы позвали Аркадия Мак-
симовича.

Аркадий Максимович пришел. Чоботов стал есть
ставриду, потому что он любил есть ставриду, а Аркадий
Максимович начал по-собачьи рыться в развороченной
земле и махать своими кисточками, и стало ясно, что

дорогу они проложат примерно лет через двадцать, аккуратно ко второму кварталу двухтысячного года.

А потом Чоботов доел ставриду и увидел, что Аркадий Максимович сидит на земле, держит в руках коричневый рулон и плачет.

Море было спокойное в этот вечер, а над горой Митридат стояло неподвижное розовое облако.

Сапожникова всегда поражало, что научные люди относятся к некоторым проблемам со злорадством и негодованием. И даже просто интерес к этим проблемам грозит человеку потерей респектабельности.

— Ну почему же вы так мучаетесь и страдаете, Аркадий Максимович? — спросил Сапожников у Фетисова. — Ведь если вам пришла в голову мысль, то ведь она же пришла вам в голову почему-нибудь?

— Так-то оно так... — ответил Аркадий Максимович.

— Ведь ничего из ничего не рождается, закон сохранения энергии не велит. Все из чего-нибудь во что-нибудь перетекает, — сказал Сапожников. — Значит, были у вас причины, чтобы появилась эта мысль. Вот и исследуйте все это дело, если оно вас волнует. Почему вы должны отгонять ее от себя, как будто она гулящая девка, а вы неустойчивый монашек?

— Так-то оно так, — сказал Аркадий Максимович. — Но вокруг проблемы Атлантиды образовался такой моральный климат, что ученого, который за нее возьмется, будут раздраженно и свысока оплевывать, как будто он еще один псих, который вечный двигатель изобрел.

— Ну и что особенного? — сказал Сапожников. — Я вечный двигатель изобрел.

— То есть как? — спросил Аркадий Максимович Фетисов. — Вы же сами говорите, что энергию нельзя получить из ничего?!

— А зачем ее брать из ничего? — спросил Сапожников. — Надо ее брать из чего-нибудь.

— Но тогда это не будет вечный двигатель.

— Материя движется вечно. Если на пути движения поставить вертушку, то она будет давать электричество.

Аркадий Максимович догадался, что Сапожников говорит серьезно, и посмотрел на него с испугом.

Так они познакомились — Аркадий Максимович, который занимался историческими науками, и Сапожников, который историческими науками не занимался, однако был битком набит бесчисленными историями и разными байками. У него этих баек было сколько хочешь.

А работал он тогда инженером в Промонтажавто-матике, в просторечье называемой шарашмонтажконторой широкого профиля, и выезжал по ее указанию в различные места нашей необъятной родины, если там не ладилась какая-нибудь автоматика. Он туда приезжал, беседовал с этой автоматикой по душам, что-нибудь в ней ломал иногда и даже не велел чинить, после чего эта автоматика почему-то начинала работать и перепуганное начальство пыталось устроить банкет. Сапожников от банкетов уклонялся, потому что пил редко и помногу, но это он проделывал один, и к работе это не имело никакого отношения, и к автоматике тоже.

Так они и познакомились и задружились с Аркадием Максимовичем, тайным атлантологом, который пил часто и по капельке. И потому он и Сапожников не совпадали по фазе и не могли друг другу причинить вред, а были друг для друга как бы помехопоглощающими устройствами. Их души взаимно укреплялись и распрямлялись во время нечастых их встреч, и им приходили в голову всякие забавные мысли, которые могли

бы принести пользу человечеству, утомленному высшим образованием.

Если говорить правду, то надо сказать, что у Сапожникова была одна странная черта, которая влияла во многом на его резвую судьбу, — он любил доигрывать чужие проигранные партии. Он чинил двери, ремонтировал матрацы, покрывал лаком чужие осыпающиеся картины, доделывал чужие рацпредложения, разрабатывал пустую породу; влезал в чужие запутанные судьбы, и ему казалось, что семь раз отмерить для того, чтобы отрубить, чудовищно мало и все, что может быть починено, должно быть починено и сможет работать. Короче, он занимался тем, чем занимался крыловский петух, — искал в навозе жемчуг. Две трети его попыток, ясное дело, кончались крахом и прахом, и тогда он упорно и назидательно читал себе переделанную крыловскую басню, которая у него кончалась тем, что жемчужина, найденная петухом, оказывалась застывшим фекалием, и мораль была переделана соответственно: знать, петуху урок был нужен, чтоб не искал в дерьме жемчужин. Но басня не помогала, и снова Сапожников разрабатывал брошенные штреки, танцевал с девушками, которых никто не приглашает, признавал терапию и неважно относился к хирургии.

Но зато когда он находил то, что искал, тогда его идеями пользовались без указания источника — и в науке, и, как ни странно, в искусстве — и, добавив к блюду другой гарнир, выносили обедающим. Сапожников являл собою как бы олицетворенный научный и прочий фольклор. А фольклор, как известно, не только безымянное, но и бесхозное имущество. Сапожников был бесхозным имуществом. Хоть бы спасибо говорили, что ли! Но и спасибо не говорили. Это было бы непоследовательно. А, как мы с вами понимаем, главное качество бездарности — это последовательность, которая не принимает корректирующих сигналов извне.

Из этого вышло остальное. Но не все, конечно. А то бы у каждой причины был единственный ряд последствий. К счастью, в жизни не так. И это обнадеживает.

Талант — это тайна связи с основным потоком жизни, талантливые люди хоть иногда способны жить в гармонии с основным потоком, который часто противоречит конкретной ситуации, то есть противоречит причинно-следственной программе. По крайней мере, очевидной.

Поэтому быть самим собой — это вовсе не строптивость, а способность соответствовать моментам, совпадающим с основным потоком. И тогда человек испытывает радость и даже предчувствует ее. Неочевидная программа. Вот в чем вся загвоздка.

Часть первая

СКАЗАНИЕ О ВЕЛОСИПЕДНОМ НАСОСЕ

Глава 1 ТИХИЙ ВЗРЫВ

Сапожниковы жили как раз посреди короткой улицы. Напротив были избы, а за ними, если глядеть влево, открывался огромный луг, по которому взгляд скользил все дальше, и там глаз упирался в город Калязин, который громоздился на высоком берегу. А великая река была не видна, потому что хотя и низок был левый берег, на котором жили Сапожниковы, а все же вода заливала его только весной, а так текла и текла себе в своем русле, тащила за собой большие и малые водовороты и где-то там, в учебнике географии, впадала в Каспийское море.

А если отойти от окна, то окажешься в комнате, где у одной стены диван, который теперь называется антикварный, а у другой стены диван, который даже теперь антикварным не называется, хотя уже появилась такая надежда. Потому что он был не диван, а сундук, накрытый холщовым паласом с изображением черкеса и двух тигров, от которых он отбивался голыми руками, поскольку его шашку и частично пистолет съела моль. На сундуке хотя и не спали, но он был как бы тахтой, в сундуке хранились валенки всего сапожниковского рода, и потому от сундука тревожно пахло зимой и нафталином.

Над сундуком висели два неродных портрета, тщательно и прекрасно написанных масляной краской. На

одном был купец, бородатый, с глазами как незабудки, скатерть кружевная, на которой лежала купцова рука с перстнем, а на другом — его жена в зеленом платье. Позади купца было растение рододендрон, а позади жены — бордовая штора. Оба портрета так и остались на стенке, когда дом отдали учителям Сапожниковым, мужу и жене, и их дочке с зятем, и сыну холостому — все учителя калязинские, — когда их собственный дом сгорел по тридцатому году от злодейской руки внука купца с рододендронам, бывшего ученика старших Сапожниковых.

Главное, чем отличался Калязин от любого города нашей круглой планеты, было то, что как в нем, так и в ближайших окрестностях всегда стояла хорошая погода и имелось все, что нужно человеку для хорошей жизни. Была черника там в сосновом бору позади огородов, и был хлеб на кухне в деревянном ларе. Был снег зимой и трава летом, и птицы в небе, и рыба в великой реке и в старице у стен монастыря Святого Макария, в котором музей и профсоюзный дом отдыха, и трудящиеся для отдыха кидают кольца на доску с гвоздями.

И вот в этом ландриновом краю блаженства и хорошей погоды родился Сапожников.

История умалчивает о том, была ли эта погода непременно хорошей для родителей Сапожникова, а тем более для бабушки его и дедушки, либо она была таковой всего лишь для него одного. В сущности, история даже вовсе об этом не умалчивает.

Но почему же, почему, когда Сапожников обращается пронзительным своим оком к тем пожелтевшим временам, его память рисует ему картины буколические и неправдоподобные?

Посудите сами. Разве правдоподобно такое, чтобы на протяжении десяти лет жизни человек ни разу не

голодал, а только чувствовал постоянно приятный аппетит, не замерзал, а испытывал лишь бодрый физкультурный морозец, не тонул в реке, а нырял с берега или с понтонного моста, соединявшего левую и правую части этого прекрасного города, не был ни разу бит, а всего лишь любовно упрекаем?

Остается предположить, что либо врет сапожниковская память-сладкоежка, произвольно, как сказал поэт, выковыривая изюм из жизненной сайки, либо Сапожников жил во времена неисторические. Что, однако, вполне противоречит фактам.

И можно догадаться, что либо врет Сапожников, рассказывая нам про эти калязинские чудеса кулинарии и метеосводок, либо история для него одного сделала исключение, протекая мимо его персональных берегов.

Если выйти из комнаты, то справа по коридору будет остальной дом, а слева сени, в которых неинтересно. А дальше будет крыльцо во двор, заметьте, не на улицу. А во дворе булыжник для купцовых телег, квартира собачки Мушки и сараи, никому лично не принадлежащие. В нормальных городах такие сараи наполнены легендами, скелетами икладами. В Калягине же ничего этого не водилось. И потому сараи были заколочены и наполнены воздухом, и в трухлявую щель четвертого венца была видна простодушная человечья какашка неизвестной эпохи, освещенная пыльным лучом дырявой крыши. Это деталь чрезвычайно важная, поскольку символизирует отсутствие любопытства калязинцев к тайнам чужого существования. Люди этого мудрого города к чужим какашкам интереса не проявляли, что вовсе не исключало любознательности. Тому пример хотя бы сапожниковская клубника, которую Сапожников, будучи ребенком четырех лет, сам развел на огороде. Клубнику калязинцы не разводили. В борю земляники было сколько хочешь. А когда шла чер-

ника, то ее тащили ведрами, высунув темно-фиолетовые языки.

А Сапожников развел в конце огорода одну штуку клубники, и она у него росла, эта клубничина, втайне от всех — сюрприз для бабушкиного дня рождения. Ну, естественно, весь дом об этом знал, но притворялся.

В день рождения, когда дядя хрустел соленым льдом в старой мороженице, а бабушку поздравляли пожилые ученики, Сапожников сорвал клубничину и принес дарить. Все, конечно, сюрпризно ахали, плескали ладошками и поражались, и бабушка держала клубничину за стебель. А Сапожников посмотрел на клубничину, глубоко вздохнул и сказал: «Больша-ая...» И ему тут же отдали фрукт.

Потом, когда Сапожников вырос, с ним почему-то такого уже больше не случалось, хотя нельзя сказать, чтоб он скупился. Скорее наоборот. То он, бывало, годами ходил с корзиной подарков и кричал: «А ну налетай!» — но никто не налетал, а когда он говорил: «Не троньте, братцы, это мое...» — то шустрые граждане беспардонно расклевывали его клубничину, а последний уходил, тупо дожевывая стебелек и забывая сказать мерси.

На калитке была огромная кованая щеколда, которая пригодилась всего раз, потому что бык Мирон механике был не обучен.

На улице закричали: «Мирон! Мирон бежит!» Мама схватилась одной рукой за сердце, другой за крыльцовую балясину, а Сапожников помчался к калитке и успел накинуть щеколду. А потом, когда все утихло, мама, шатаясь, подошла к калитке и долго смотрела на раздвоенные следы на песке и представляла тяжкие бычьи копыта и рогатую глыбу, которая промчалась мимо ворот вдоль по улице, туда, где Калязин кончался и стоял дом, в котором жил Аграрий.

Аграрием его называли потому, что он был лысый, читал книжки по аграрному вопросу и карандашами разного цвета подчеркивал нужные ему моменты и соображения, на полях писал чернилами, расставлял восклицательные и вопросительные знаки, а также «Nota bene!» и «sic!», равно загадочные, пока книжка не надувалась как бы в две книжки и годилась только на то, чтобы читать по ней лекции, что Аграрий и делал каждую зиму. Однако летом приезжал с новой книжкой и новыми силами, чтобы черкать на полях «моменты» и «соображения». А так во всем прочем он был тихий человек. У него была подслеповатая улыбка, заграничная кофейная мельница на две персоны, ручная, и жена, тоже заграничная, не то англичанка, не то немка, которую Сапожников видел только в двух позициях: либо она лежала на кровати, ровно расположив поверх суконного одеяла без простыни голые руки, и глядела в потолок, либо она купалась в Волге совершенно голая, без бюстгальтера и трусов, и хотя лицо имела старое и волосы рыжие с сединой, тело у нее было розовое, как у девочки.

А Сапожников и Аграрий сидели на камешках и смотрели, как она идет в воду, и дальше смотрели на ту сторону реки, где по откосу ползли телеги, а на плоской вершине стоял бывший храм с желтой парашютной стрелой, высунутой с колокольни, и с этой стрелы по выходным дням сигали допризывники и опускались в сквер с легким криком, а в сквере этому ужасались калязинцы, бродя по дорожкам вокруг чугунного памятника Карлу Марксу. А дальше — улицы Калязина, и на одной из них по правую руку — городская библиотека. А дальше небо, небо и миражи, миражи.

Если повернуться спиной к городу Калязину, то в недалгом расстоянии от того места, где входила в воду совершенно голая не то немка, не то англичанка, глаз различал Макарьевский монастырь, стоявший на

огромном лугу, монастырь Святого Макария, или, как высказался массовик-затейник профсоюзного дома отдыха, монастырь имени Святого Макария. И потому половина города была Макары, Макарьевичи, Макарьевы.

Дом отдыха московского электрокомбината помещался в монастыре, из чего следовало, что монастырь и в новые времена использовался по назначению и в нем все так же люди отдыхали от забот мирских, хотя и по-другому, чем представлял себе его основатель.

Монастырь стоял плоско, не возвышался земной монастырь, а был заподлицо с луговиной и порядками домов левого берега, только отстоял от них метров на девятьсот — поближе к сосновому бору.

Там по монастырскому двору среди вечерней золотой листвы гуляли московские городские люди. Там накидывали на гвозди проволочные кольца для меткости глаза, там дирижер поперек себя шире, по имени Рудольф Фукс, махал и махал черными рукавами, там показывали антирелигиозный фильм «Праздник святого Иоргена», немой вариант. Все так. Но если обогнуть монастырь и пройти вдоль стен над старицей и оказаться с тыла, то можно окунуться в чудо, непохожее на жульничество. Если встать перед серым выступом и громко сказать: «Ха! Ха!» — то вдруг услышишь рев толпы и грохот голосов, обороняющих монастырь от призрачного нашествия. Так и было задумано строителями крепостных стен — орда, зашедшая внезапно с тыла, пугалась собственного эха.

Пришел Аграрий к Сапожниковым, познакомился с матерью и сказал, что хочет Сапожникова забрать в монастырь смотреть кино «Праздник святого Иоргена», немой вариант. И на канонический вопрос Сапожникова: «Про что кино, про войну или про любовь?» — ответил кратко: «Про жуликов». И стал разглядывать народные масляные портреты купцовой жены с бордовой занавеской и купца с рододендронам. А потом

вдруг осведомился, а что, мол, это за растение в горшке, на что получил незадумчивый ответ — дескать, это рододендрон.

— Нет, — сказал Аграрий, — это не рододендрон. Это дерево — самшит. Только еще маленький.

Так Сапожников впервые услышал про дерево самшит.

Он еще ничего не знал о дереве самшите, только почему-то вдруг ему стало холодно в спине, как будто откинули дверь в ночь и теперь в затылок ему светит морозная звезда.

Стоп. Спокойно. О чем, собственно, речь. В конце концов, даже наука не вся состоит из арифметики. А тем более жизнь, которая эту науку породила.

Святой Макарий был сыном боярина Кожи. Еще в юности принял иноческий сан, а потом основал монастырь-крепость, которая грозно и чудесно перечила ордынскому ходу.

Аграрий сказал:

— При чем тут чудо? Что есть — есть, чего нет — нет. Монастырь-крепость есть? Есть. Макарий, сын боярина Кожи, негромкий участник освободительной войны, есть? Есть. Потому он святой. А не потому, что останки его тлению не подверглись, что сомнительно. Хотя состав почвы позволяет сделать это предположение. А если бы даже подверглись? Что же его, из святых увольнять? Орда-то ведь сгинула. Вот чудо без подделки и никакого Иоргена, — сказал Аграрий, когда они с юным Сапожниковым возвращались ночью по черному лугу из монастырского кино.

— И откуда вы все это знаете? — льстиво спросил Сапожников.

— Я расстрига, — сказал Аграрий.

— А что такое расстрига? — спросил юный Сапожников.

И во всем Калязине было так. Что есть — есть. Чего нет — нет. Калязинцы народ негромкий и житейски трезвый. За всю коллективизацию всего-то один дом и сторел по левой стороне, и тот был подожжен злодейской рукой купцова внука, балдой и холостяком, помнившим еще дореволюционные свои муки, принятые от учительницы, сапожниковской бабки. Его, может быть, и помиловали бы из уважения к роду Сапожниковых, которые скопом просили не губить его и тем не усугублять их древнюю педагогическую неудачу, но, как на грех, выяснились еще кое-какие дела, а дела эти были громкие и имели последствия. Что есть — есть, чего нет — нет. Но миражи, миражи...

— Значит, по-вашему, чуда не может быть? — спросил Сапожников. — Совсем не бывает? Совсем?

— Смотря что считать чудом, — сказал Аграрий, — все рано или поздно объясняется.

— Все? — спросил Сапожников.

— Все.

— Все-все?

— Все-все, — сказал Аграрий.

— А как же...

— Что «а как же»? — спросил Аграрий.

Но тут залаяла собачка Мушка — и миражи пропали.

Рассказывают, что композитор Глинка, великий композитор, к слову сказать, сидел на подоконнике и мечтал. В доме звенели вилками, готовясь к обеду, а за окном гремели экипажи. Но только вдруг звуки дома и улицы начали странно перемешиваться и соответствовать друг другу. И тогда композитор Глинка схватил перо и стал торопливо писать ноты. Потому что он был великий композитор и внутри себя услышал музыку.

И это есть открытие и тихий взрыв.

Потому что человек, который делает открытие, и во все не важно какое — большое или маленькое, звезду открыл или песню, травинку или соседа, пожаловавшего за табаком и солью, это все не важно, — открытие всегда приходит единственным путем: человек прислушивается к себе и слышит тихий взрыв.

Тихий взрыв может услышать каждый, но слышит в одиночку и, значит, один из всех. Потому что нет двух одинаковых, а есть равные. И значит, каждому свое, и что свое, то для всех, а что только для всех, то не нужно никому, потому что дешевка, сердечный холод, второй сорт.

В доме Сапожниковых жила Нюра, вдова его младшего дяди. У нее были серые глаза, серые волосы, серый передник на сером коротком платье. И когда она низко нагилась вытащить из грядки красную морковь, надо было отвернуться, потому что было совсем не так, как когда жена Агрария входила в великую реку. Почему не так, десятилетний Сапожников еще не знал, но надо было отвернуться.

Нюра задавала вопросы. Про все. «А это что?.. А это как называется?..» Но ответы ей были неинтересны. Задаст вопрос и прислушается к своему голосу. А отвечать ей можно было что угодно, лишь бы сотрясать воздух. Сосед, который приходил за табаком и солью, всегда смотрел на нее не глазами, а затылком. Выслушает ее вопрос и отвернется, помолчит лишнее время, давая затихнуть ее голосу, и ответит, что в голову придет. А юный Сапожников стоит посередине комнаты и переводит глаза с нее на него и обратно, пока шея не заболит.

Однажды Нюра спросила:

— Стяпан, а Стяпан, что за дерево растет в горшке на купцовой картине, зеленое? Как называется?..

— Рататандр... — ответил Степан что попало. — Табаку-то нет у вас? Мой весь...

— Пойду в сенях натреплю, — сказала Нюра. — Тебе с корешком? А то либо чистого листа?..

Сапожников спросил у среднего дядьки, учителя ботаники, тычинки-пестики:

— Где растет рататандр?

— Нет такого растения, — сказал дядька тычинки-пестики.

— А Степан сказал — есть.

— Ну-у, Дунаев... — пренебрежительно сказал средний дядька. — Он у меня больше «уд» с плюсом никогда и не вырабатывал... Рататандр... Может быть, рододендрон?

Так и осталось в купцовом горшке — рододендрон.

Ан все-таки не так. Аграрий-расстрига посмотрел невидяще своим шалым глазом и определил:

— Дерево самшит. Только маленькое.

И Сапожников услышал тихий взрыв.

Он услышал тихий взрыв, и почувствовал нездешний сладкий запах, и увидел далеко, и страшно, и мающе-маетно леса и Волгу, и не наше море, и звезду над белыми песками, и давние народы, и будущие времена, и дерево самшит стояло неподвижно, как мираж на каменистом пути, и, как мираж, пропало. Осталась только радуга-мост через великую реку от калитки сапожниковского дома до калязинской городской библиотеки. И юный Сапожников пробежал по радуге и сказал в продолжающемся озарении:

— Можно мне взять вон ту книгу?

— С собой нельзя, — сурово ответила библиотекарша. — Только в читальне. Да не хватай все тома. Бери один.

И выдала нетерпеливому Сапожникову «Историю искусств» Гнедича, даже в те времена значительно устаревшую.

Энтузиазм — это одно, а экстаз, наоборот, совсем другое. Экстаз нахлынет — и пропал. За это короткое время можно открытие сделать, можно дом поджечь. Сам по себе он ни хорош ни плох. Смотря что из него вышло. А энтузиазм — ровное пламя, само себя поддерживает, само себя питает, бежит по бикфордову шнуру, и ветер его не гасит.

Экстазу нужны пружина с бойком, детонация, а энтузиазму только пицца по дороге. И потому к энтузиазму у многих есть некоторое небрежение. Взрыв каждому заметен, его без очков видно, а жизненное пламя заметно, когда руку обожжешь, и еще по результатам. Десятилетиями ходили мимо, а на площади только возня, да строительный мусор, да что-то пучится посередке, а потом однажды глядь — Василий Блаженный с цветными куполами стоит, будто всегда стоял, туристы аппаратами щелкают, посмотрите налево, посмотрите направо, перед вами памятник архитектуры. А кто сейчас про само строительство помнит? Как будто в одну ночь построила Марья-искусница. Если сказать ненаучно, на глазок, то трава растет с энтузиазмом, дерево растет с энтузиазмом. Цыпленок в яйце растет с энтузиазмом, а проклевывается с экстазом.

Здравствуй, Сапожников! Я тебя бог знает сколько лет не видел. Как ты прожил свою жизнь и зачем?

Глава 2 УХОДЯЩИЙ ГОРИЗОНТ

Его Варганов взял за горло:

— Сапожников, нужно обязательно поехать в Северный-второй.

Он сказал:

— Подумаю... Меня же в Запорожье посылают?

А разговор состоялся на вечере. Был юбилей их конторы. Когда ее создавали, никто не верил, что она продержится больше года. Как только не обзывали старушку: и «Сандуновские бани», и «невольничий рынок», и «центральная шарагина контора», — а вот справляют юбилей, и, говорят, разгонять ее вовсе не собираются.

Они наладчики, обслуживают весь белый свет. Если что где застревает по электрической части, какая-нибудь новинка трещит, устройство, механизм, система — обращаются к ним, кто-нибудь едет и налаживает. Иногда приехавший не может разобраться. Тогда он колдует и тычет чем-нибудь куда-нибудь, после этого устройство (новинка) обычно начинает работать. Почему так получается, никто не знает. Этот метод называется «методом тыка».

Народ у них довольно способный, хотя кое-кто говорит, что, если бы не было их, не было бы и аварий, поэтому их еще называют «фирма Дурной Глаз». Основное время они проводят в разъездах, поэтому большая часть сотрудников холостяки или разведенные.

Если бы Сапожникова спросили: какое наследство ты бы хотел оставить тем, кто пойдет после тебя, ну не духовное, понятно, о духовном разговор особый, а материальное, какое? — он бы не задумываясь ответил: «Кунсткамеру».

Слово старое и уже давно пренебрежительное. Потому что давно уже выросла наука из детских штанов и стремится жить систематически, а не разевать рот перед диковинами, собранными несистемно в одно место. Тут тебе и овца о двух головах, и индейская трубка мира, не имеющие, очевидно, друг к другу никакого отношения.

А разве это так очевидно? Разве их не объединяет удивление?

Ведь это только потом приходит — почему? зачем? для какой надобности и откуда взялась? как это сделать еще лучше или как от этого избавиться? А вначале ты должен удивиться тому, что не каждый день видишь. И лучше, если эта непохожая диковина возникает перед тобой отдельно, дискретно, автономно, как твое бытие, а не системно, как чужое мышление. Потому что мышление вторично, а первичное бытие всю дорогу поправляет наше мышление своими новинками и требует разгадок и системных выводов. Вот для чего кунсткамера — для удивления.

А если еще точнее спросить, чего бы хотело дефективное, чересчур конкретное воображение Сапожникова, то он ответил бы — кунсткамеру изобретений, которые почему-то не вышли в производственный свет божий.

Открытие — это то, что природа создала, а изобретение — это то, чего в природе не было, пока ты этого не придумал.

Если опытные люди и комиссии, которые ведут счет изобретениям, говорят, что до этого раньше тебя никто не додумался, они дают тебе справку, что ты первый, и кладут изобретение в бумажное хранилище, чтобы было с чем сравнивать, когда придет другой выдумщик, и чтобы сказать ему — велосипед уже изобрели.

Велосипеды действительно бегают. А сколько выдумок не бегают? Столько, сколько не пустили в производство. Потому что карман у общества не бездонный. И потому выдумка, в которой нужды нет, лежит себе полеживает, забытая. Проходят годы, появляется нужда, а люди не знают, как эту нужду насытить. Иногда вспоминают прежнюю выдумку, а чаще заново голову ломают.

Сапожников считал, что каждое установленное изобретение, которое не пошло в производство, нужно выполнить в виде действующей модели и поставить

в музей без всякой системы, чтобы оно вызывало удивление и толкало на мысль, куда бы его применить, а там, глядишь, родило бы и новую диковинную выдумку.

Так ему подсказывал духовный голод.

— Ну, знаешь! Чего бы покушать, ты ищешь каждый день. А духовный твой голод — это уж по праздничкам, — сказал Вартанов, когда брал его на работу, почти силком.

А сказал он это Сапожникову, который как раз в то время кушал не каждый день, потому что от него как раз тогда ушла жена и Сапожников как раз тогда уволился с прежней службы, уволился, как выстрелил. А куда выстрелил? В белый свет как в копеечку. Ну, тут его Вартанов и подобрал, не знал Вартанов, с кем связывается. А тут как раз Сапожникову стали опять приходиться в голову разные светлые идеи, и опять есть стало некогда, жалко было время тратить. И так новая служба полдня отнимала, да еще часть суток с самим собой надо было сражаться, обиду преодолевать, да еще спать надо было часть суток — чистое разоренье. И подумать о жизни — хорошо, если шесть часов оставалось, а что за шесть часов успеешь? Поэтому Вартанов мимо сказал насчет еды каждый день, к Сапожникову это относилось едва.

Сапожников потом вспоминал те странные давние годы, когда добрые замыслы с трудом пробивались сквозь нелепости первых прикидок мирной жизни и прекрасная овощь кукуруза слабо проклеивалась на нечерноземной полосе и севернее, когда царил «штильлебен» и «натюрморт». Горы рожали мышей или шли к своему Магомету, кулики хвалили свои болота, и почти тем же самым занималась гречневая каша. Башни слоновой кости стали ориентирами для прямой наводки, и отшельничьи души предпочитали колодцы, откуда, конечно, видны днем звезды, но всегда рискуешь получить ведром по голове.